



## МОСКОВСКИЙ ТЕКСТ БРОДЯГИ ГИЛЯЯ («Москва и москвичи» В. Гиляровского)

Москва! Какой огромный  
Странноприимный дом!  
Всяк на Руси — бездомный.  
Мы все к тебе придем.

*М. Цветаева. 1916*

### Легенда

В пятнадцать лет он убил первого медведя.

В восемнадцать — с бурлацкой артелью тащил баржу по Волге.

Узнав о знаменитой кукуевской катастрофе (в результате размыва под железнодорожное полотно провалился целый состав), он первым, прячась в вагонном туалете, примчался на место крушения и две недели посылал репортажи в газету, а потом несколько месяцев не мог избавиться от запаха разлагающейся человеческой плоти.

Он оказался в толпе людей, давивших друг друга на Ходынке во время злосчастной коронации Николая II, сам едва не погиб и, с трудом выбравшись оттуда, — единственный — смог опубликовать об этом газетный репортаж.

Он издавал спортивную газету, организовывал гимнастическое общество, водил дружбу с писателями, актерами, художниками, градоначальниками, жандармами, жокеями, кондукторами, половыми, ворами, нищими.

У него было бесчисленно друзей и, кажется, вовсе не было врагов.

Художник Репин рисовал с него одного из запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, скульптор Андреев запечатлел его барельеф на памятнике Гоголю, а писатель Чехов (Антон) оставил колоритные сценки общения с ним в Москве и Мелихове.

«Продаю мангуста с аукциона. Охотно бы продал Гиляровского с его стихами, да никто не купит. По-прежнему

му он влетает ко мне почти каждый вечер и одолевает меня своими сомнениями, борьбой, вулканами, рваными ноздрями, атаманами, вольной волюшкой и прочей чепухой, которую да простит ему Бог» (Н. М. Линтваревой, 25 октября 1891 года).

«Гиляровский прошел недавно в один день 80 верст пешком, убил медведя, лисицу и множество зайцев и опять собирается в лес, так как во Владимирской губернии ему дали знать, что три медвежьих берлоги уже ждут его. Нет времени, а надо ехать!» (А. И. Смагину, 24 ноября 1891 года).

«Был у меня Гиляровский. Что он выделывал, боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна. Говорил он не переставая» (А. С. Суворину, 8 апреля 1892 года).

«В первый день Пасхи приезжал Гиляровский; творил он чудеса: ломал бревна и гарцевал без седла на моих голодных клячах. Теперь в Москве, вероятно, хвастает, что выездил у меня пару бешеных лошадей» (А. И. Смагину, 10 апреля 1892 года).

Богатырю-удальцу с его мальчишескими забавами было в это время уже почти сорок. На память о том дне осталась фотография: Гиляровский везет на тачке двух Чеховых, Михаила и Антона, а третий брат вместе с родственником и какой-то незнакомой девочкой с любопытством наблюдает за происходящим. «Посылаю Вам фотографию, снятую в первый день Пасхи Левитаном, — напишет Чехов через месяц тому же Смагину. — У меня, как видите, вышел один только глаз. Узнали Гиляровского?»

Да кто ж его не узнавал!

Гиляровского было так много, он так мощно и шумно заполнял собой окружающее пространство и время — куда-то мчался на лошадях или на поезде, летал на воздушном шаре и аэроплане, лазал по трубам московской канализации, — что стал в конце концов московской достопримечательностью.

«Дорогой дядя Гиляй, крестный мой отец по литературе и гимнастике, — напишет ему в альбом человек и писатель такого же типа и темперамента, — скорее я вообразу Москву без царь-колокола и без царь-пушки,

чем без тебя. Ты — пуп Москвы. Твой непокорный сын А. Куприн».

Любопытно, что летописцем Москвы и московской легендой стал не старожил, а человек, который оказался в старой столице в двадцать лет.

## Жизнь

«Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева...» Это произошло 26 ноября (8 декабря) 1853 года.

Дед Гиляровского по материнской линии был запорожцем, после екатерининского разгрома Сечи занесенным из украинских степей в вологодские леса (так что Репин точно угадал в Гиляровском вольную хохлацкую кровь).

До поры до времени все шло как обычно: семья переехала в наполненную политическими ссыльными Вологду, в восемь лет мальчик потерял мать, появившаяся вскоре строгая мачеха начала прививать ему вместо вольных лесных привычек строгие французские манеры, подошло время гимназии (1860).

Однако, так и не окончив ее, Гиляровский чувствует бурление дедовской вольной крови. «Мои скитания» — назовет он потом книгу об этом времени.

В июне 1871 года, как герой еще не написанного чеховского рассказа «Мальчики», он бежит, правда не в Америку, а на Волгу. Гиляровский пешком приходит из Вологды в Ярославль, чтобы «выполнить заветное желание попасть именно в бурлаки, да еще в лямочники, в те самые, о которых Некрасов сказал: „То бурлаки идут бечевой...“» Сделал он это, кстати, под впечатлением романа Н. Чернышевского «Что делать?», герои которого были в семидесятые годы не объектом насмешек, а примером для подражания.

«Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос



Китаев» (тоже небывалый силач, вологодский Робинзон, побывавший и в Китае, и в Японии, и на необитаемом острове).

В Рыбинске Гиляровский превращается в крючника (грузчика на пристани), случайно встречается с отцом, поддается его уговорам и в сентябре оказывается уже вольноопределяющимся-юнкером в Ярославле.

Через два года он впервые увидел Москву: в числе лучших учеников его направили в Московское юнкерское училище.

«Но как всегда в моей прежней и будущей жизни, случайность бросила меня на другую дорогу», — меланхолически заметит Гиляровский через много лет.

Подкинутый ребенок, с которым юнкер явился в училище, обвинение в пьянстве, несправедливое отчисление — и вот уже несостоявшийся военный меняет шинель и мундир на старую шапку и ватную телогрейку и превращается в *зимогора*. «Так в Ярославле и вообще в верхневолжских городах зовут тех, которых в Москве именуют хитровцами, в Самаре — горчичниками, в Саратове — галаховцами, в Харькове — раклами, и всюду — „золотая рота“».

Потом он был пожарным, рабочим на белильном заводе, табунщиком в калмыцкой степи, цирковым актером, разведчиком-пластуном на русско-турецкой войне (за что получил орден Святого Георгия), драматическим актером (под писательским псевдонимом В. А. Сологуб), карьера которого началась в Таганроге, продолжалась в Пензе, Москве и городах Поволжья.

В 1881 году Гиляровский в очередной раз оказывается в Москве, в очередной раз меняет область занятий — и она оказывается его подлинным призванием, потому что позволяет в новом качестве продолжить прежнюю бурную жизнь и скитания.

Стихи Гиляровский начал писать еще в гимназии и даже опубликовался в гимназическом сборнике. Он продолжал сочинять их и во время театральной карьеры. Однажды во время дружеского ужина он прочитал только что написанное редактору тонкого московского журнальчика. То, что произошло потом, Гиляровский хорошо помнил почти через пятьдесят лет.

«Прошла неделя со дня этой встречи. В субботу — тогда по субботам спектаклей не было — мы репетировали „Царя Бориса“... Вдруг вваливается Бурлак (друг Гиляровского актер В. Н. Андреев-Бурлак. — *И. С.*)...

— Пойдем-ка в буфет. Угощай коньяком. Видел?

И он мне подал завтрашний номер „Будильника“ от 30 августа 1881 г., еще пахнувший свежей краской. А в нем мои стихи и подписаны „Вл. Г-ий“.

Это был самый потрясающий момент в моей богатой приключениями и событиями жизни. Это было мое торжество из торжеств («Мои скитания», глава «В Москве»).

С этого момента Гиляровский навсегда отравлен литературой и с головой погружается в *Москву газетную*.

«Московский листок» (1882—1883), «Русские ведомости» (1883—1889), «Россия» (1889—1902), «Русское слово» (1900—1913). А еще «Петербургский листок», «Новое время», «Муравей», «Оса», «Осколки», «Развлечение», редактирование собственного «Журнала спорта». Только псевдонимов, под которыми сотрудничал Гиляровский в газетах и журналах, известно более восьмидесяти. Самый популярный из них — *Дядя Гиляй*, самые колоритные — *Владимир Велосипедов*, *Дядя Занд*, *Емеля Золя*, *Спортсмен*, *Театральный крепыш*, *Фуражка с кокардой*, *Французик из Бордо*. Позднее, на анкетную просьбу перечислить периодические издания, в которых он сотрудничал, Гиляровский ответил: «Сия задача неразрешима, нельзя и припомнить!»

Гиляровский в восьмидесятые годы (как его современник и приятель Антоша Чехонте, как и многие в мире газет и тонких журналов) — литератор-многостаночник.

Он сочиняет стихи, но, как правило, средние, шаблонные, проходные. Самым знаменитым текстом в этом роде оказался экспромт, сочиненный после премьеры толстовской драмы «Власть тьмы» (1886):

В России две напасти:  
Внизу — власть тьмы,  
А наверху — тьма власти.

Он пишет очерки и рассказы, главным образом о городской бедноте, «бывших людях» — бродягах, нищих,

босьяках. Эти свои сочинения он собирает в книжку «Трущобные люди», но книжку запрещают (хотя все тексты ее раньше печатались в периодике) и уничтожают. Напечатать ее лишь через восемьдесят лет (1957) по случайно сохранившемуся в семье Гиляровского экземпляру с авторскими поправками.

«И с той поры, — запишет Гиляровский в дневнике, — бросил я писать рассказы. Писал я повесть три года и назвал „Большая повесть“ — из жизни дворцов и подвалов, но запрещение книги отшибло у меня всякую охоту продолжать».

Настоящий писатель не может бросить свое занятие, как бы трудно ему ни приходилось; если бросил, значит, писатель был ненастоящий, — скажет через сто лет рассказчик, много лет вынужденно занимавшийся журналистикой (С. Довлатов).

С запрещением Гиляровскому, возможно, даже повезло. Он прекратил опыты в беллетристике, окончательно осознал свое ремесло *настоящего журналиста* и вскоре приобрел репутацию *короля репортажа* (в ироническом чеховском варианте — *царька московских репортеров*).

Была такая шутка: Гиляровский накануне знает обо всем, что произойдет завтра. Похожее говорили про писателя-натуралиста П. Д. Боборыкина: он так спешит за бегущим днем, что скоро будет описывать события за пять минут до их возникновения.

«С гордостью почти полвека носил я звание репортера — звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам... Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска», — признавался Гиляровский уже в конце жизни («Москва газетная», глава «Вместо эпилога»).

Младший Чехов, Михаил, в том же добродушно-ироническом семейном духе еще при жизни героя мемуаров вспоминал о появлении в их доме приятеля старшего брата.

«Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал: „Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить“. Приход Гиляров-



ского пришлось как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на „ты“, предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас, и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление» (М. П. Чехов. «Вокруг Чехова»).

От живой сценки мемуарист переходит к общей характеристике, которая вполне подтверждает первое впечатление.

«Как репортер он был исключителен. Гиляровский был знаком решительно со всеми предержавшими властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя занибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он повел меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу „На дне“, — Гиляровский знакомил его актеров со всеми „прелестями“ этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал, не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек. Гиляровский обладал громадной силой, которой любил хвастнуть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за



заднее колесо извозчицей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадыю. В саду „Эрмитаж“, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри...»

Потом Михаил Чехов вспоминает только один день, проведенный в обществе Гиляровского. Все начинается со случайной встречи на улице и предложения подвезти экзаменирующегося гимназиста домой. Но вместо дома Михаил, сопровождая Гиляровского, оказывается сначала на оперетке в «Эрмитаже» у знаменитого Лентовского («Посиди здесь, — сказал мне Гиляровский, введя в театр, — я сейчас приду»), потом, через несколько часов, — на Рязанском вокзале («Встретившись и поговорив на ходу с десятками знакомых, он отправился прямо к отходившему поезду и, бросив меня, вдруг вскочил на площадку вагона в самый момент отхода поезда и стал медленно отъезжать от станции. „Прощай, Мишенька!“ — крикнул он мне. Я побежал рядом с вагоном. „Дай ручку на прощанье!“ Я протянул ему руку. Он схватился за нее так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе и затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона»), потом, уже поздней ночью, — на даче Гиляровского, где жена ничуть не удивляется появлению позднего гостя, а двухлетний сын, ночью стоя на столе, как ни в чем не бывало поднимает гири.

М. Чехов рассказывает и еще одну забавную историю (готовый сюжет «Дорогой собаки» старшего брата). Неугомонный журналист покупает необычайно буйную вороную лошадь («Вот погоди, — сказал он мне, — ты скоро увидишь, как я буду на ней ездить верхом в Москву и обратно»), долго возится с ее дрессировкой («Гиляровский же и лошадь поднимали в сарайчике такой шум, что можно было подумать, будто они дерутся там на кулачки; и действительно, всякий раз он выходил от своего Буцефала весь потный, с окровавленными руками. Но он не хотел сознаться, что это искусывала его лошадь, и не-

брежно говорил: „Так здорово бил ее, сволочь, по зубам, что даже раскровянил себе руки“), но все-таки вынужден был признать свое поражение («В конце концов пришел какой-то крестьянин и увел лошадь на живодерку. Гиляровский потерял надежду покататься на ней верхом и отдал ее даром»).

«Я не помню Гиляровского, чтобы когда-нибудь он не был молод, как мальчик», — резюме портрета Михаила Чехова.

При таком круге знакомых, настроении и образе жизни никакая систематическая литературная работа, конечно же, была невозможна. Автору «Трущобных людей» и так и не написанной за три года «Большой повести» мешала не цензура, а натура.

Увидеть и сразу же написать в номер, чтобы снова сломя голову мчаться за очередной сенсацией, — для Гиляровского было важнее, чем долго придумывать сюжет и тщательно подбирать характерные детали.

Противоречие между личностью и стилем Гиляровского, уязвимость литературной манеры почувствовал еще даже не Чехов, а Антоша Чехонте, излагая литературному знакомому историю с запрещенной книгой: «Радуюсь за Гиляровского. Это человечина хороший и не без таланта, но литературно необразованный. Ужасно падок до общих мест, жалких слов и трескучих описаний, веруя, что без этих орнаментов не обойдется дело. Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа — это простота и искренность, но быть искренним и простым в своих рассказах он не может: не хватает мужества. Подобен он тем верующим, которые не решаются молиться Богу на русском языке, а не на славянском, хотя и сознают, что русский ближе и к правде, и к сердцу.

Книжку его конфисковали еще в ноябре за то, что в ней все герои — отставные военные — нищенствуют, умирают с голода. Общий тон книжки уныл и мрачен, как дно колодезя, в котором живут жабы и мокрицы» (А. Н. Плещееву, 5 и 6 июля 1888 года).

*Сумерки и хмурых людей* Гиляровский в результате оставил Чехову, Гаршину и другим современникам. Его

газетные и мемуарные вещи проникнуты совсем иным настроением. Его органические жизнерадостность и оптимизм прорываются сквозь самый неподходящий материал, проявляются в самых неожиданных местах.

«Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ликовала, и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушел в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который сунул меня на Волгу своим романом „Что делать?“» («Мои скитания», глава «В народ»).

«Война. Писать свои переживания или описывать геройские подвиги — это скучно и старо. Переживания мог писать глубокий Гаршин, попавший прямо из столиц, из интеллигентной жизни в кровавую обстановку, а у меня, кажется, никаких особых переживаний и не было... Весело жили. Каждую ночь в секретах да разведках под самыми неприятельскими цепями лежим по кустам да папоротникам, то за цепь проберемся, то часового особым пластунским приемом бесшумно снимем и живехонько в отряд доставим для допроса... Веселое занятие — та же охота, только пожутче, а вот в этом-то и удовольствие» («Мои скитания», глава «Турецкая война»).

«Это было 19 июня 1904 года, на другой день после пронесшегося над Москвой небывалого до сего урагана, натворившего бед. Незабвенный и памятный день для москвичей, переживших его! Мне посчастливилось быть в центре урагана» («Москва газетная», глава «Русское слово»).

«Сезон был веселый... Трехаршинная афиша красными и синими буквами сделала полный сбор, тем более что на ней значились всевозможные ужасы, и заканчивалась эта афиша так: „Картина 27-я, и последняя: Страшный суд и Воскресение из мертвых. В заключение всей труппой будет исполнен «камаринский»“. И воскресшие плясали, а с ними и суфлер Модестов, вылезший с книгой и со свечкой из будки» («Мои скитания», глава «Актерство»).

В последней жанровой зарисовке, вопреки намерению Гиляровского, можно увидеть некий символ. Счастливый среди бурлаков, под пулями, в труппах, на театральной сцене, в редакции, даже в центре урагана, он за минуту



до Страшного суда мог бы пуститься в пляс, в последний раз закрутить винтом серебряную ложку, показать карточный фокус, рассказать анекдот.

Потому и переход в другой мир дался ему легче, чем многим другим.

## Память

25 октября 1917 года история России в очередной раз переломилась. После недолгой борьбы, игры в прятки с большевистской властью были закрыты все старые газеты и журналы — правые и левые, правые и виноватые.

Императорское прошлое, ставшее прошлым абсолютным, почти мгновенно превратилось для одних в «проклятое», объект для обязательных ритуальных обличений, для других — в идеальный мир, которого по недомыслию не знали и не ценили.

Первые вовсю мемуарили на страницах новой советской печати, вторые — ностальгировали на берегах Сены или в тайных дневниках и мемуарах.

Гиляровскому в год Октябрьской революции исполнилось шестьдесят четыре. Казалось бы, ему было поздно все начинать сначала и он должен был вместе с Буниным, Иваном Шмелевым, Зайцевым грезить о далеком прошлом как потерянном рае или, оставшись в России, — просто замолчать, как замолчали, доживая, Потапенко, Л. Авилова, другие не умеющие перековаться скромные писатели чеховского круга.

На деле произошло обратное. Старик Гиляровский в послереволюционные годы переживает свое «акмэ», высшую степень литературной продуктивности и новой известности. Он становится *разрешенным мемуаристом* (как стал разрешенным юристом А. Ф. Кони или разрешенным графом-писателем А. Толстой).

От новой власти к семидесятилетию по ходатайству литературной общественности он получает кусок земли в Можайском уезде, через год строит дом в Картино и счастливо живет там последнее десятилетие.

В 1922 году выпускает отдельным изданием поэму «Стенька Разин» (тот самый — но без цензурных купюр —



текст об ушкуйниках, над которым иронизировали еще братья Чеховы). Но главной его работой становятся воспоминания.

«От Английского клуба к Музею Революции» (1926), «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928), «Записки москвича» (1931), «Друзья и встречи» (1934), «Люди театра» (1935, опубликовано — 1941), «Москва газетная» (1935, опубликовано — 1960). Редкий из молодых писателей мог похвастать такой литературной продуктивностью.

Второе издание «Москвы и москвичей» (1935) с подзаголовком «Очерки старомосковского быта», включившее и материалы «Записок москвича», вышло через два месяца после смерти автора. Главы для этой книжки писались до последних дней. Кое-что в последующие издания добавляли уже составители.

Гиляровский умирает 1 октября 1935 года. «Никто от нас с тобой в жизни не плакал, — признается он Н. Морозову, одному из самых близких людей, который поступил к нему на службу тринадцатилетним мальчишкой и провел вместе с ним сорок лет, — никому мы не сделали никакого зла. Душа моя чиста... Чиста совесть... Как у новорожденного. Чувствую, как мне легко будет на росс-танях. Об этом мне хотелось тебе сказать».

## Москва

В «Филиале» (1989) уже упомянутого Сергея Довлатова, журналиста поневоле, есть такой фантастический эпизод. Русские завоевали Америку, добрались до идеологических эмигрантов (философов, писателей, журналистов), но вместо преследования и наказания комендант Нью-Йорка в пять минут снова превращает их в бойцов советского идеологического фронта. «Кого я посажу на ваше место? Где я возьму таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново — мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег... Поэтому слушайте! <...> Ты, Далматов, был советским журналистом. Затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь? — Слушаюсь! — отвечает Далматов».

Через несколько лет довлатовский прогноз осуществился — но с обратным знаком. Самыми беспощадными критиками советского строя оказались (за редкими исключениями) не обычные граждане или диссиденты, а бойцы идеологического фронта из партийных изданий. В той же колонне — десятилетия усердно разоблачавший Америку фельетонист: благополучно легализовавшись в прежней империи зла, он через несколько лет спокойно публикуется в той же самой газете, не очень изменяя предмет и стиль, но теперь его фельетоны предлагаются как снисходительный, ироничный взгляд на издержки американского образа жизни.

Кроме идеологических (измена) или этических (прохвосты, вторая древнейшая профессия) оценок, возможны и иные объяснения этого феномена.

Подлинный, органический журналист-репортер, а не работник идеологического фронта обладает особым мировоззрением. Репортер имеет дело с фактами, а не убеждениями, объясняя их ближайшим контекстом.

Он — *философ новости* и, значит, объективно опирается на идею изменения, прогресса. Однако он всегда существует в ближайшем социальном и культурном контексте. Он борется, защищает права, критикует, являясь частью той же самой социальной структуры, оставаясь внутри ее. Комментируют, анализируют и фантазируют уже другие.

«Слова и иллюзии гибнут, факты остаются», — сформулировал Писарев принцип эмпирической, позитивистской философии.

*Идеи и социальные структуры меняются, новости и люди остаются*, — мог бы переформулировать этот принцип настоящий журналист.

Предисловие к «Москве и москвичам» Гиляровский начинает цитатой из «Бориса Годунова»: «Минувшее проходит предо мною...» Почти сразу он переделывает ее: «...Грядущее проходит предо мною...» А в самом конце двухстраничного текста определяет себя как человека, живущего «на грани двух столетий, на переломе двух миров».

Так уже в начале книги определяется точка зрения Гиляровского на предмет рассказа. Он приветствует преобразование страны и Москвы и, в общем, повторяет все

риторические клише тридцатых годов. «Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь — асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются перво-классные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы — эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, готовят себя к героическим подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Каракумов, и на „Крыше мира“, и в ледниках Кавказа.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы...

Это стало возможно только в стране, где Советская власть».

Однако и на старую Москву, в которой Гиляровский прожил большую часть своей жизни, которую многократно исходил вдоль и поперек, он тоже смотрит заинтересованно-любовным взглядом, исключаяющим как идеализацию, так и обличение. *Минувшее* и *грядущее* не вступают друг с другом в смертельную схватку (хотя объективно одно уничтожает другое), а мирно *сосуществуют* — в реальности и в памяти, — подчиняясь (впрочем, прямо не формулируемой) *идее прогресса*.

Особенностью книги Гиляровского, ее главной удачей стала до конца проведенная в ней *позиция репортера*, впрочем ведущего теперь репортаж из прошлого.

Для репортера характерна еще одна важная особенность зрения: *событие* он видит лучше, чем *человека*; а человека забавного, *примечательного* — лучше, чем глубокого, *замечательного*.

В книге «Друзья и встречи» есть очерк «Антоша Чехонте», очень важный для Гиляровского, потому что он считал Чехова и его семейство самым близким, едва ли не единственным, прочным знакомством своей бурной журналистской жизни.



Очерк начинается общим рассуждением: «О встречах моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко.

Не то — Чехов. О нем мне писать не легко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же отдался воспоминаниям о нем».

В этих воспоминаниях приведено несколько забавных анекдотов о чеховской юности и прототипах его рассказов, трогательно рассказано о последней встрече. Но и проговорки («разные мы с ним были люди», «последнее время мы... отделились друг от друга») оказываются абсолютно справедливыми. Чехов Гиляровского произносит большой идеологически выдержанный монолог о Разине и Пугачеве («Ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, а в каждой деревне свой Пугачев найдется...»). А заканчивает мемуарист предположением от себя: если бы «друг юных дней» дожил до современности и увидел праздничное шествие молодежи с красными флагами, «он, автор „Хмурых людей“, написал бы книгу „Жизнерадостные люди“».

Чехов видел и понимал своего товарища гораздо лучше, не приписывая ему монологов о борьбе с царизмом, а погружая его в быт, четко обозначая динамику, диалектику его характера и поведения. «Гиляровский налетел на меня вихрем и сообщил, что познакомился с Вами. Очень хвалил Вас. Я знаю его уже почти 20 лет, мы с ним вместе начали в Москве нашу карьеру, и я пригляделся к нему весьма достаточно. В нем есть кое-что ноздрёвское, беспокойное, шумливое, но человек это простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам га-



зетчикам. Анекдоты рассказывает он непрерывно, носит часы с похабной панорамой и, когда бывает в ударе, показывает карточные фокусы» (М. Горькому, 24 августа 1899 года).

Гиляровский же лучше Чехова понимает издателя «Московского листка» Н. И. Пастухова, «безграмотного редактора на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке», который тем не менее оказывается «одним из самых ярких, чисто московских типов за последние полстолетия». Пастухову посвящен самый большой и интересный очерк в «Москве газетной». Его грубость, прижимистость, необразованность, страх перед властью имущими, как и преданность газете, фантастическая работоспособность, помощь ближним, изображаются в цепочке колоритных анекдотов. А последние годы его жизни — случайное убийство мальчишки и несчастья, преследующие его семью, — представлены как трагедия рока.

*Случай, рассказик кстати, анекдот* — исходный структурный элемент «Москвы и москвичей».

Почтенный профессор в анатомическом театре, осмотрев труп, объявляет перед студентами, что признаков насильственной смерти нет. Но тут появляется старый сторож и, посрамляя светило, указывает на перелом шейного позвонка. «Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых» («Хитровка»).

Дама покупает у торговца-антиквара за десять рублей полотно Репина, обещая вернуть его в случае, если это подделка. Вечером на нее смотрит сам художник, со смехом надписывает на полотне: «Это не Репин. И. Репин» — и картина продается там же уже за сто рублей («Сухаревка»).

Из трактира в трактир ходит мрачный купец, бьет посуду, швыряет бутылки шампанского в зеркала, всякий раз спрашивает «Сколько?» и расплачивается не торгуясь.

Другой замоскворецкий оригинал является домой ночью на лихаче, но вдруг отказывается въезжать в ворота. «Не хочу в ворота, ломай забор! Не поеду!» Ворота

ломают, а утром, после упреков жены, купец приказывает вместо бани натопить погреб («Трактиры»).

Пространство «Москвы и москвичей» заполнено сотнями подобных историй, которые сохранила память дяди Гиляя. Но ведь нужно было их как-то композиционно организовать, иначе книжка превратилась бы просто в сборник анекдотов.

Гиляровский долго мучился над этой проблемой. Н. Морозов вспоминает разговор с ним, относящийся едва ли не к 1918 году, когда работа только еще начиналась: «Больше всего занимает книга о Москве и ее людях, книга сложная, а с чего ее начать, в какой последовательности продолжать — не знаю. Намечаешь то один материал, то другой, но все не удовлетворяет. Наконец, не ясно: какое содержание в целом должно в нее войти».

И вдруг, прямо на глазах мемуариста, Гиляровского осеняет идея: «У меня мысль блеснула... Наш переулочек — центр Москвы, — сказал он. — У меня вот такая блеснула мысль. — Он показал рукой на дом Моссовета. — Сначала приступить к описанию правой стороны центра, описывать все подряд от Петровки до Арбата и дальше, а потом, — он указал по направлению к Петровским линиям, — описывать левую, начиная от Неглинки и уходя вглубь. В следующую очередь пойдут Замоскворечье и окраины. Мне кажется, работа у меня теперь пойдет скорее, — заключил Владимир Алексеевич» (Н. Морозов. «Сорок лет с Гиляровским»).

«Много *анекдотов* можно было бы припомнить про княжение Долгорукова на Москве, но я ограничусь только одним, относящимся к генерал-губернаторскому дому, так как *цель моих записок — припомнить старину главным образом о домах и местностях Москвы*» (выделено мной. — И. С.), — проговаривается Гиляровский в главе «Под каланчой».

Анекдотические истории у Гиляровского нанизываются на географический стержень. Композиция «Москвы и москвичей» определяется топографией. Книга разворачивается вширь, расползается по городу. От обычной краеведческой литературы ее отличает, однако, опора на личный опыт и хищный — репортерский — интерес не к памятни-

кам, а к людям, причем обычным москвичам. Хитровка и Сухаревка занимают Гиляровского больше Большого театра и Консерватории, а драматурги из «Собачьего зала» — больше Островского (про Островского написали и напишут другие).

Стержневые географические главы («Из Лефортова в Хамовники», «Лубянка», «Вдоль по Питерской») перемежаются более конкретными зарисовками общественных учреждений («Охотничий клуб», «Трактиры», «Яма») и физиологическими очерками московских сословий и типов («Начинающие художники», «Булочники и парикмахеры», «Студенты»).

Сиюминутное, бытовое занимает Гиляровского гораздо больше, чем историческое, социальное. Однако, исчезнув, оно тоже стало историей, только трудноуловимой и труднодостижимой.

«Единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани. Каждое сословие имело излюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в „дворянское“ отделение. Рабочие и беднота — в „простонародное“ за пятак. Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. Бани как бани! Мочалка — тринадцать, мыло по одной копейке. Многие из них и теперь стоят, как были, и в тех же домах, как и в конце прошлого века, только публика в них другая да старых хозяев, содержателей бань, нет, и память о них скоро совсем пропадет, потому что рассказывать о них некому.

В литературе о банном быте Москвы ничего нет. Тогда все это было у всех на глазах и никого не интересовало писать о том, что все знают: ну кто будет читать о банях? Только в словаре Даля осталась пословица, очень характерная для многих бань: „Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут!“ И по себе сужу: проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях, хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань; встречался там с интереснейшими москвичами всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке» («Бани»).

Благодаря Гиляровскому мы теперь много знаем о московских банях (а также трактирах, парикмахерских,



хитровских притонах и мастерских художников), знаем, что сколько стоило, что пили-ели и что пели.

«Во второй половине зала был сервирован завтрак...

На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.

Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румятели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластинами во весь поперечник окорока, и опять пластины были сложены на свои места так, что окорок казался целым.

Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали.

Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная — тонким ножом пополам каждая икринка режется — высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачувская — кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах...

<...> Вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:

Гайда, тройка, снег пушистый,  
Ночь морозная кругом...

Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях».

Так безудержно, вкусно, со смаком описывается открытие «храма обжорства», знаменитого магазина Елисеева («История двух домов»).



А вот как выглядела питерская баня, «обыкновенная, которая в гривенник», где так и не удалось помыться герою Зоценко? И что входило в комплексный обед в студенческой столовой году эдак в восьмидесятом?

Для современного историка важнее мемуаров императора записки наполеоновского солдата. Но кого интересовали его мнения в начале позапрошлого века?!

Предмет Гиляровского, — скажет тот же историк, — *история повседневности*.

Каждой эпохе нужен свой Гиляровский, да не каждой эпохе он достается.

Удача автора «Москвы и москвичей» связана еще с одним обстоятельством.

Для историков литературы стало привычным понятие *петербургский текст* (придуманное и обоснованное В. Н. Топоровым). Это «некий синтетический свертхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели».

Другими словами, это совокупность текстов, в которых создается не эмпирический, а символический образ города — *миф о Петербурге*.

Петербургский текст был создан уже в девятнадцатом веке — Пушкиным, Гоголем, Достоевским, позднее — Андреем Белым, Блоком, Ахматовой и Мандельштамом. Очерковые и краеведческие работы о Петербурге выглядели на этом фоне глубокой периферией.

Московского текста, хотя бы отчасти конкурирующего с петербургским, русская литература не создала. «Москва и москвичи» временно исполняла его обязанности.

А потом появился Булгаков с «Мастером и Маргаритой»... На границах истории повседневности вырос московский миф. Он не отменил картины Гиляровского и иных мемуаристов-летописцев, но обозначил их подлинное место.

В редакции, подготовленной самим Гиляровским, «Москва и москвичи» оканчивалась главой «Олсуфьевская крепость» — описанием огромного доходного дома Олсуфьева на Тверской, Москвы в Москве, где жили поколениями, работали, пили, гуляли в праздники, танцевали на балах. Книга завершалась обычной для Гиляровско-

го топографической горизонталью: вот еще один примечательный московский адрес, еще несколько картинок минувшего.

Гиляровский, как уже упомянуто, написал еще несколько фрагментов, которые составители добавляют в последующие издания. Обычно в конце книжки ставят главу «На моих глазах», высветляя замысел старика Гиляя и приближая его к современности тридцатых годов. У подъезда вокзала автор садится в открытый автомобиль, мчится по шумной Тверской, Садовой, Цветному бульвару, Петровке, в очередной раз вспоминает историю этих мест. Прошлое во всех отношениях проигрывает настоящему: вместо пыльного булыжника — прекрасные мостовые, вместо возов с овощами, дровами и самоварным углем — чудный сквер с ажурной решеткой, вместо маленьких садиков с калитками на запоре — широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом, вместо змея с трещоткой в небе — три аэроплана.

Путешествие заканчивается на Театральной площади, практически в той же точке, где начинался рассказ о Москве и москвичах. «Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы.

Где же Охотный ряд?»

Простодушный дядя Гиляй вряд ли предполагал такой эффект, но его концовка вдруг приобретает символическую многозначность. Последний вопрос, кажется, выражает восхищение новой Москвой. Но он может быть понят по-другому: как лирический вздох о той, ушедшей Москве, где в небе парили бумажные змеи с трещоткой — памяти детства.

Нет прежнего Охотного ряда, и не будет его никогда...

«У бродяги мемуаров нет — есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут, связи не ищи... Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем затракаешь в „Эрмитаже“, ночью добывая материал, бро-

дишь по притонам Хитрова рынка. Сегодня по поручению редакции на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра — едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны... И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь — без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии... У репортера тех дней не было прочных привязанностей, не могло быть...» — жаловался Гиляровский в очерке о Чехове.

Благодаря цельности его природы, клочки жизни бродяги Гиляя все-таки сложились в мозаику старой, ушедшей Москвы.

История повседневности без этой книги оказывается неполной.

*И. Н. Сухих*

## СОДЕРЖАНИЕ

Московский текст бродяги Гиляя. <i>И. Н. Сухих</i> . . . . .	5
--	---

### МОСКВА И МОСКВИЧИ

От автора . . . . .	29
В Москве . . . . .	31
Из Лефортова в Хамовники . . . . .	33
Театральная площадь . . . . .	38
Хитровка . . . . .	41
Штурман дальнего плавания . . . . .	70
Сухаревка . . . . .	77
Под Китайской стеной . . . . .	103
Тайны Неглинки . . . . .	116
Ночь на Цветном бульваре . . . . .	122
Кружка с орлом . . . . .	129
Драматурги из «Собачьего зала» . . . . .	137
Дворцы, купцы и ляпинцы . . . . .	147
«Среды» художников . . . . .	172
Начинающие художники . . . . .	179
На трубе . . . . .	187
Чрево Москвы . . . . .	206
Лубянка . . . . .	220
Под каланчой . . . . .	235
Пожарный . . . . .	248



Булочники и парикмахеры . . . . .	255
Два кружка . . . . .	278
Охотничий клуб . . . . .	290
Львы на воротах . . . . .	300
Студенты . . . . .	321
Нарышкинский сквер . . . . .	331
История двух домов . . . . .	338
Бани . . . . .	356
Трактиры . . . . .	397
«Яма» . . . . .	436
«Олсуфьевская крепость» . . . . .	440
Вдоль по Питерской . . . . .	447
На моих глазах . . . . .	455
Примечания. <i>И. Н. Сухих</i> . . . . .	466